

Константин Гуркин

ПОЧЕРК ВРЕМЕНИ

*Некоторые истории исчезают из памяти.
Но остаются в почерке времени.*

2026

Константин Гуркин

Почерк времени

«Автор»

2026

Гуркин К.

Почерк времени / К. Гуркин — «Автор», 2026

Старинный стамбульский дом хранит память нескольких поколений рода Кёксал. Девять найденных дневников открывают Нехир и Эмиру мир, где переплелись любовь и предательство, надежда и утрата, верность и тяжёлые семейные тайны. С каждой прочитанной страницей прошлое становится всё ближе, а судьбы людей, давно ушедших из жизни, начинают незримо влиять на настоящее. Забытые имена обретают голос, привычные представления о близких рушатся, а старые решения требуют ответа от нового поколения. Вместе с Тураном, Асли и Эйлюль герои пытаются сохранить подлинность этих историй и вернуть дому его истинное предназначение. «Почерк времени» — атмосферный роман о Стамбуле, семейной памяти и любви, которая не исчезает бесследно, а продолжает жить в словах, поступках и судьбах тех, кто приходит после.

© Гуркин К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава первая. НЕХИР	5
Глава вторая. ПЯТНИЦА	9
Глава третья. ОБЪЕКТ	13
Глава четвёртая. ЛАВКА	16
Глава пятая. ХРАНИЛИЩЕ	19
Глава шестая. ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ	22
Глава седьмая. ДВОЕ НАД СТРАНИЦЕЙ	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Константин Гуркин

Почерк времени

Мой почерк, мне говорили, читается только терпением. Значит, ты умеешь смотреть.

— из тетрадей, писано в канун свадьбы, 1301 год хиджры[1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. НЕХИР

Утро начиналось с моста — так Нехир говорила себе каждый раз, хотя никакого моста по дороге из Левента в Бейоглу не было. Мост был внутри: между домом, где она проснулась, и городом, ради которого просыпалась.

Сентябрь стоял тот самый, стамбульский — когда лето уже сдалось, но ещё не признало этого вслух. Солнце поднималось над азиатским берегом неспешно, как человек, которому некуда торопиться ближайшую тысячу лет, и стеклянные башни Левента ловили его первыми — холодно, зеркально, не впуская внутрь. Нехир пила кофе у окна родительского дома и смотрела, как свет сползает по фасадам вниз, к старым кварталам, — туда, где его умели принимать иначе: впитывать в камень, в черепицу, в морщины стен, ничего не отражая и ничего не отдавая обратно.

В доме уже пахло рабочим утром — заваренным в два этажа чаем, поджаренным хлебом, оливками, которые мать высыпала в голубую пиалу не глядя, ровно столько, сколько нужно: будничный завтрак, сокращённый до формулы, но даже в формуле у матери оставалась её рука. Отец, стоя, допивал свой чай и одновременно говорил по телефону — судя по терпеливым паузам, с прорабом; мать за большим столом раскладывала веером листы с обмерами, и по тому, как она их выравнивала — не глядя, кончиками пальцев, — было ясно, что мыслями она уже там, внутри какого-то дома, за какой-то стеной, под каким-то потолком, которому лет двести и который ей предстоит уговорить постоять ещё столько же. В их семье все разговаривали с неодушевлённым. Отец — с бетоном и сметами, строго. Мать — со старыми домами, вкрадчиво, как с недоверчивыми стариками. А дед... дед просто слушал, что вещи говорят сами. Этому он и её учил — всю жизнь, сколько Нехир себя помнила.

— Вечером не жди, — сказала она матери в дверях, — у меня девочки.

— Пятница, — согласилась мать, не отрываясь от обмеров, и это слово в их доме давно означало и вопрос, и ответ, и «передавай привет всем троим».

В метро Нехир всегда вставала у дверей — не из нетерпения, а чтобы видеть людей. Это дед научил её, сам того не зная: смотри не на вещь — смотри на следы. На то, как потёрта ручка портфеля у мужчины напротив: с правой стороны, у замка, — значит, правша, значит, открывает часто, значит, бумаги, много бумаг, и все срочные. На то, как женщина в синем платке держит свёрток — от себя, на отлёте, бережно: свежее, из пекарни, кому-то ещё тёплым. Люди были как мебель в дедовой лавке — каждый со своей биографией, вписанной в потёртости. Нужно было только уметь читать.

Читать её учили дважды. Сначала буквам — в школе, как всех. А потом настоящему чтению — в лавке на спуске к Топхане, где буквы оказались старше, красивее и упрямее школьных, где они прятались в узорах на крышках часов, перетекали в цветы и обратно в слова и убегали справа налево, как убегает вода. Ей было шесть, когда дед впервые поставил перед ней

шкатулку с перламутром и провёл её пальцем по вязи на крышке: «Смотри, кызым[2]¹. Это не узор. Это слова». С того дня мир перестал быть немым. Слова оказались всюду — на ободках чашек, на лезвиях ножей, на надгробиях, мимо которых шли к парому, на медных подносах, которые дед позволял ей натирать до солнца. Город, набитый словами по самые крыши, — и почти никто вокруг не умел их слышать.

На «Шишхане» она вышла [3]²из-под земли у Тюнеля, и город принял её, как принимал всегда, — сразу весь. Утренняя Истикляль ещё не проснулась в туристку: жалюзи подняты наполовину, у пассажиров пахнет мокрым камнем, из первой открывшейся пекарни тянет кунжут — симитчи[4]³выставляет на лоток золотые кольца, ещё дышащие печью, и этот запах здесь вместо будильника. Старый трамвай простучал мимо, красный и важный, пустой в этот час, как театральная декорация до спектакля.

Она шла по левой стороне — по теневой; по солнечной пойдёт вечером, обратно, — это была её личная договорённость с улицей, одна из многих. Договорённостей у неё с Истикляль было множество, и все — молчаливые. С тяжёлой оградой русского консульства, например: замедлить шаг. За оградой стоял в глубине двора палаццо цвета слоновой кости — работа братьев Фоссати[5]⁴, тех самых, что чинили Айя-Софию, и Нехир каждый раз думала об этом с профессиональной нежностью: одни и те же руки держали и величайший купол земли, и это посольское крыльцо, — у старых мастеров не бывало мелких заказов. С церковью Санта-Мария Драперис договорённость была другая: не пропустить. Её вообще пропускали все — храм прятался ниже уровня улицы, в нише, и от Истикляль к его дверям вели ступени вниз, будто в трюм: церковь старше самой улицы и потому сидит глубже — город за века вырос вокруг неё, как кольца на дереве. Вещь, которую надо уметь заметить, — Нехир любила её именно за это.

А вот Сент-Антуан не заметить было нельзя — да он и не просил. Красный, кружевной, неоготический, самый большой католический храм города стоял в своём дворе-подкове открыто, по-итальянски, и на его ступенях уже сидели первые голуби и первые уставшие. Из ворот выходила старушка, крестясь и одновременно ища что-то в сумке, — и в этой одновременности было всё Бейоглу: здесь никогда не делали что-то одно. Улица посольств, церквей и пассажиров — Нехир скользнула взглядом в стеклянное горло Аврупа-пасажа, где между кариатидами ещё горели ночные фонари, — эта улица век назад называлась Гранд рю де Пера и с тех пор так и не решила, на каком языке ей сниться.

У Галатасарайского лица она свернула, как сворачивала тысячу раз, — и улица сразу сменила голос. Истикляль осталась за спиной греметь, а здесь, на Турнаджибаши, начиналась тишина другого сорта — обжитая, домашняя, со стуком посуды из открытых окон и запахом стирки, натянутой поперёк переулка. Слева проплыл Галатасарайский хамам[6]⁵— пять с лишним веков пара и мрамора; из его дверей, как всегда по утрам, выходил распаренный, розовый, заново рождённый человек и шурился на свет. Дальше улица клонилась вниз — и Нехир отдавалась спуску, как отдаются течению. Спуск был из тех, что сам решает, куда тебя вывести: мимо второго хамама, Ага-хамама, помнившего, если верить кварталу, ещё времена Завоевателя; мимо первых антикварных витрин, которые открывались не сразу, а постепенно, как открыва-

¹ «Дочка моя», «моя девочка» — ласковое обращение старшего к младшей женщине, не обязательно к родной дочери.

² Тюнель — подземный фуникулёр между Каракёем и Бейоглу, открытый в 1875 году, одна из старейших действующих подземных городских дорог мира. Так же называют и квартал вокруг его верхней станции.

³ Симит — круглый хлебный бублик в кунжуте; симитчи — уличный торговец, который развозит их на тележке.

⁴ Гаспаре и Джузеппе Фоссати — швейцарско-итальянские архитекторы, работавшие в Османской империи в XIX веке; наиболее известны реставрацией Айя-Софии в 1847–1849 годах.

⁵ Хамам — общественная баня османской традиции, наследница римско-византийской банной культуры и одновременно место общения и семейных обрядов. Галатасарайский хамам традиционно датируют 1481 годом и связывают с дворцовой школой Галатасарая, Ага-хамам — 1454 годом и охотничьими владениями Мехмеда II; обе даты принадлежат скорее устойчивому преданию, чем документу.

ется шкатулка с секретом, — сначала лавка с медью, потом окно, за которым громоздились люстры, словно замёрзший фейерверк, потом зеркала — старые зеркала, выставленные лицом к улице, в которых прохожий на миг шёл сам себе навстречу сквозь мутноватую, честную старость стекла.

Чукурджума открывалась ей, как открывалась всю жизнь, — по нарастающей, и на самом дне этой волны, там, где улица делает колено, стояла деревянная мечеть. Мятно-зелёная, скромная, Мухйиддин Молла Фенари — из работ великого Синана, о чём она сама молчала так упорно, что квартал звал её просто Чукурджума Джами. Напротив дремал фонтан Омера Аги, переживший на два века и агу, и его врагов. А наискосок от мечети, через колено улицы, стоял дом — четыре этажа, палисадник, из которого выплёскивались на тротуар статуи и старые двери, и у входа, по обе стороны, — два мраморных льва, вытертых до тёплого блеска тысячами ладоней. На вывеске над дверью, старой, с потемневшей позолотой букв, значилось: «Nehir Antika Evi».

Туристы, узнав, как её зовут, неизменно умилялись: лавку называли в вашу честь! Нехир не спорила — объяснять было долго. Лавка была старше её на целую жизнь; это её называли в честь лавки, и когда она спрашивала деда, почему антикварный дом зовётся рекой, дед отвечал по-разному, и все ответы были правдой не до конца. Правду до конца знала бабушка — но бабушку уже не спросишь.

Ставни лавки были ещё закрыты: дед открывал по азану[7]⁶, как открывали его отец и его дед, и утренний намаз в Молла Фенари служил лавке часами вернее любых часов. Нехир, проходя, положила ладонь на голову левого льва — того, на котором сидела верхом всё детство, — привычным жестом, каким здороваются, не останавливаясь. Сегодня она шла не к деду. Сегодня были заказчики, образцы тканей, спор с поставщиком света и ещё десяток дел, из которых состоит жизнь человека, обставляющего чужие жизни.

Работала она не по часам — по приливу. В фирме отца это называлось «режим Нехир» и далось ей не сразу и не даром: первые два года она отсидела в офисе от звонка до звонка, как все, вычертила три объекта, которые отец принял без единого слова похвалы, — и только на третьем году, когда заказчик с Бююкада при отце сказал, что за такой интерьер прощают любые сроки, отец объявил ей своим обычным тоном, каким сообщают о поставке паркета: «Работай как тебе работается. Спрашивать буду результат». С тех пор она могла просидеть над раскладкой тканей до четырёх утра и прийти в офис к полудню — и приходила к полудню с готовой раскладкой; могла исчезнуть на день в лавки и вернуться с тем самым единственным зеркалом. Отец не спрашивал, где она была. Отец смотрел, что она принесла. В его системе координат это и было доверие — самой высокой пробы, которую он выдавал: сделное.

Про себя она называла свою работу именно так — обставлять чужие жизни. В этом не было горечи, почти не было. Она умела то, чего не умели ни архитекторы, ни декораторы из глянцевого портфолио: она умела расслышать, каким дом хочет быть, — и не мешать ему. Чужие квартиры слушались её, как слушается оркестр дирижёра, приглашённого на один вечер: блистательно — и не её. Вечером она отдавала ключи, и дом начинал жить дальше без неё, с чужими шагами по паркету, который она выбирала три недели, с чужим утренним кофе у окна, ради которого она передвинула стену.

А своего у неё не было. То есть был — примерно четвёртый год подряд, во всех подробностях, вплоть до латунных петель на кухонных шкафах, — но существовал он пока только в её голове и в одной тайной папке на ноутбуке, которую она не показывала никому, даже девочкам. Маленькая квартира где-нибудь здесь, на этих улицах, стекающих к Топхане. Обязательно старый дом — можно совсем усталый, она не боится. Высокий потолок. Одно большое окно

⁶ Азан — призыв к молитве, который муэдзин произносит пять раз в сутки. Намаз — сама обязательная молитва, совершаемая в установленное время.

на вечернюю сторону. И тишина того сорта, какая бывает только в старых стенах, — выдержанная, как дедово вино из Бозджаады. Она обставит её медленно, за годы, вещь к вещи, и ни одна не попадёт туда случайно. Смешно: дочь строителей, внучка антиквара — многие дома города прошли через руки её семьи, а ей всё не находилось своего. «Сапожник без сапог», — смеялась Асли. «Просто твой дом тебя ещё не нашёл», — говорила Эйлюль, и в её устах это звучало не утешением, а справкой из архива: мол, проверено, задокументировано, ждите.

Телефон дрогнул в кармане на середине спуска, ниже мечети, там, где между домами впервые блеснула вода. Нехир глянула на экран и улыбнулась: женсовет, как всегда, начинался задолго до вечера. Писала Гёкче — по-адвокатски, без единого лишнего слова: «Сегодня в восемь. Не опаздывать. Повестка есть». Следом, через секунду, Асли: «Повестка у неё, видите ли. У меня, между прочим, новости поинтереснее любой повестки». И Эйлюль, миротворица: «Девочки, я возьму у мамы пирог. Нехир, ты ближе всех к нормальному кофе — с тебя кофе».

«Ну конечно же, кофе с меня, — написала Нехир, переступая выщербленную ступеньку, которую помнила ногами с детства. — И у меня тоже новость. Большая. Вечером».

Она убрала телефон и посмотрела вниз, туда, где улица, сузившись, впадала в блеск Босфора, как впадает в море всякая река, знающая своё дело. Внизу, у воды, просыпался Топхане: белый бок круизного лайнера медленно вставал над крышами Галатапорта — корабли швартовались теперь там же, где швартовались веками, только паруса у них стали двенадцатипалубными. Новость и правда была большая — вчера вечером отец сказал ей вскользь, между чаем и телефоном, как говорят о вещах, важность которых понимают не сразу: новый заказ, и заказ приличный: фирма «Онаран» третий год не брала ничего в Бейоглу, а тут — Бейоглу, старый дом, конец девятнадцатого века, огромная квартира — «и наполнение всё твоё, кызым, от паркета до последней ложки. Справишься?»

Справится ли она. Нехир улыбнулась Босфору — далёкому, лаковому, в утренней дымке — и пошла вниз, навстречу своему дню, ещё не зная, что несёт он не работу, а судьбу, и что старый дом в Пере уже ждёт её — так, как умеют ждать только старые дома и старые слова: терпеливо, весь свой век.

Впрочем, о том, что вещи умеют ждать, ей было известно лучше многих. Этому её тоже научил дед.

Глава вторая. ПЯТНИЦА

Крыша Асли держала последние дни сезона, как держит осаду гарнизон, знающий, что подмога не придёт: ещё две, от силы три пятницы — и лодос⁷ с дождями сгонит их вниз, в зимний штаб, к Хайри-бею в Джихангире, за угловой стол у запотевшего окна. Но сегодня сентябрь был милостив. Город лежал под ними до самой воды — черепица, спутниковые тарелки, простыни на верёвках, минареты Джихангира и дальше, за провалом Босфора, огни азиатского берега, зажигающиеся вразнобой, как зрители, подтягивающиеся к началу спектакля.

Квартира досталась Асли от двоюродной тётки — вместе с крышей, скрипучей металлической лестницей на неё и котом Мюэззином, который сейчас сидел на парапете спиной к городу и лицом к столу, потому что из всего Стамбула его интересовал только пирог.

— Не смотри на меня так, — сказала ему Эйлюль, разрезая бёрек⁸ на ромбы. — Это мамин. Мама заворачивала его в три утра, у неё теперь бессонница, и она говорит, что юфка любит тихий дом. Тебе, между прочим, тоже отрезано, твой кусок остывает у лестницы.

Бёрек был шпинатный, с той самой маминой юфкой — тонкой до прозрачности, до пергамента, — и пах так, что разговор сам собой отложился до второго куска. На столе уже стояло всё, что полагается пятнице: белый сыр в оливковом масле, дыня, последние помидоры сезона, которые Гёкче торжественно объявила «последними приличными помидорами до июня», стручки жареного зелёного перца, принесённый Нехир кофе — и повестка.

Повестка существовала на самом деле. Гёкче составляла её каждую пятницу, в заметках телефона, пунктами, и каждую пятницу зачитывала вслух под общий стон. Это началось как шутка на третьем курсе, когда они втроём завалили бы сессию, если бы Гёкче не расписала им подготовку по дням, — и за несколько лет шутка отвердела в ритуал, как и всё, что они делали вместе дольше трёх раз.

— Пункт первый, — сказала Гёкче, отставляя стакан. — Новость Асли, которая поинтереснее любой повестки. Цитата. Пункт второй: большая новость Нехир, заявленная в письменной форме сегодня в десять ноль четыре. Пункт третий — разное. По регламенту...

— По регламенту я сейчас умру, — сказала Асли. — Какой год, ханым-эфенди⁹, вы читаете нам повестку, и какой год в ней стоит пункт «разное», и ни разу — ни единого раза! — мы до него не дошли.

— Потому что вы не соблюдаете регламент.

— Мы — журналист, дизайнер и архивистка. Мы не соблюдаем регламент, мы его документируем. — Асли подлила себе вина и повернулась к Нехир. — Так. Раз я пункт первый, начну с тебя, потому что моя новость требует разогретой публики. Что за большая новость? Ты продала почку? Ты выходишь замуж? У тебя клиент без дурного вкуса?

— Последнее ближе всего, — сказала Нехир. — Но по порядку не выйдет, потому что если я скажу, вы не дадите мне доесть.

— Мы и так не дадим.

— Отец передал мне объект. — Нехир выдержала паузу, которой позавидовал бы дед, продающий сомневающемуся покупателю зеркало эпохи Абдул-Хамида. — Целиком. Бейоглу, старый дом, конец девятнадцатого века. Квартира — двести с лишним метров, потолок четыре

⁷ Лодос — тёплый и часто сильный юго-западный ветер, приносящий в Стамбул влажность, штормы и резкие перемены погоды.

⁸ Бёрек — общее название выпечки из тонкого теста с сырной, мясной или овощной начинкой. Юфка — то самое тесто, раскатанное почти до прозрачности.

⁹ Ханым — уважительное обращение к женщине, близкое к «госпожа»; ставится после имени. Эфенди — «господин»: в исторических главах может указывать на образованного или служилого человека, в современных это просто знак почтения. Вместе, «ханым-эфенди», — форма подчёркнуто церемонная, а в дружеском разговоре шутливо-торжественная.

двадцать. Реставрацию ведут родители, а всё наполнение — моё. От паркета до последней ложки, так и сказал.

Стало тихо — той короткой, самой дорогой тишиной, которая случается между близкими людьми, когда новость слишком хороша, чтобы сразу шутить.

— Ох, — сказала Эйлюль, и глаза у неё сделались, как у Мюэззина при виде бёрека. — Конец девятнадцатого. Пера. Там подлинные полы? Печи? Лепнина живая?

— Печей две, изразцовые, одна разбита. Лепнина под тремя слоями краски, мама говорит — снимут. Полы вскрываем на той неделе.

— Стоп, — Гёкче подняла ладонь. — До того, как вы обе уплывёте. Полномочия тебе оформили? Письменно? Ты подписываешь сметы, ты принимаешь работы, ты отвечаешь перед заказчиком — на каком основании? «Отец сказал» — это не основание, это тост.

— Гёкче.

— Что — Гёкче? Я с лица Гёкче. Семейный бизнес — это прекрасно, пока все живы, здоровы и не поссорились, а потом приходят ко мне, и я смотрю на их лица и на их бумаги, и бумаг нет, а лица — лучше бы их тоже не было. Доверенность. Приложение к договору. Одна страница. Я сама составлю, бесплатно, в счёт пирога.

— За пирог ты будешь должна маме отдельно, — вставила Эйлюль.

— Внесу в повестку. Пункт «разное».

— Значит, и это мы не обсудим никогда, — сказала Асли. — Так, я всё ещё пункт первый, между прочим. Но сначала — заказчик. Кто? Что за человек ставит двести метров под потолками четыре двадцать и отдаёт наполнение девочке из Левента?

— Девочка из Левента понятия не имеет. Отец говорит — бизнесмен, купил квартиру год назад, до этого она сорок лет стояла разделённая, там жили три семьи. Он выкупил все части и восстанавливает в исходных границах.

— Одинокий?

— Асли.

— Что? Это профессиональный вопрос. Я журналист, мне важен бэкграунд.

— Тебе важен компромат.

— Компромат — это и есть бэкграунд, доведённый до ума... Ладно. — Асли отодвинула тарелку, положила локти на стол и обвела их взглядом, каким, должно быть, обводила редакцию перед летучкой. — Моя новость. С понедельника у меня рубрика. Своя. Называется — внимание — «Уходящий город». Раз в неделю, разворот и видео: ремёсла, лавки, места, которых через десять лет может не остаться, — и люди, на которых всё это ещё держится. Последний мастер по починке зонтов. Последняя джезвяная¹⁰ мастерская. Хамам, который закрывается, потому что внукам он не нужен. Я год это пробивала, мне говорили — депрессивно, не кликается, кому нужны старики... А теперь у них, видите ли, стратегия на ностальгию, и я внезапно провидец.

— Асли, это же прекрасно! — Эйлюль даже привстала. — Слушай, а приходи к нам в архив, у нас как раз...

— Приду. Вы у меня в списке между точильщиком ножей и последним каллиграфом. — Асли произнесла это со всей возможной небрежностью, но она крутила стакан, и небрежность эта была напускная: рубрика для неё — не строчка в резюме. — За «Уходящий город», девочки. Чтобы он уходил помедленнее.

Выпили. Город внизу поддержал — где-то в переулке засмеялись, звякнуло стекло, с минарета Джихангира поплыл вечерний азан, и все четверо, не сговариваясь, переждали его молча, как переживают дождь под навесом, — даже Мюэззин, обязанный этому азану именем.

— Кстати об уходящем, — сказала Асли, когда азан стих. — Расскажи про имя.

¹⁰ Джезва — небольшой ковш с длинной ручкой для приготовления кофе по-турецки.

— Нет.

— Расскажи про имя!

— Асли, здесь нет новеньких. Здесь все слышали это тридцать раз.

— А я хочу тридцать первый. Это мой любимый жанр: человек рассказывает семейную легенду и делает вид, что ему надоело. Расскажи стенам. Вон, коту расскажи, он не слышал, он при тётке жил.

Нехир вздохнула — как вздыхала все тридцать раз, и все тридцать раз этот вздох был частью представления, и все за столом это знали, и в этом знании было уютно, как в старом свитере.

— Меня называли в честь магазина, — сказала она коту. Кот моргнул. — Да. Я единственная девушка в Стамбуле, названная в честь антикварной лавки. Не лавку в честь меня — заметь, это важно, все путают. Лавка старше меня. Лавку назвала бабушка, ещё когда мамы на свете не было: дед хотел что-то солидное, «Османлы» какое-нибудь, со львами и позолотой, а бабушка сказала — нет, будет «Нехир». Река. Дед спорил неделю: какая река, ханым, у нас антиквариат, у нас всё старое и стоит на месте! А бабушка сказала: вот именно. Вещи через лавку текут — приходят и уходят, а дом стоит. Дом — берег. И дед, конечно, сдался, потому что... — Нехир пожала плечом, — потому что дед всегда ей сдавался, только делал вид, что это стратегическое отступление. А через двадцать лет родилась я, и надо было выбирать имя, и дед сказал маме: назови Нехир. Мама удивилась — в честь лавки?! А дед сказал: должна же в семье антикара быть хоть одна вещь, которая течёт.

— Обожаю, — сказала Эйлюль тихо.

— А бабушка что сказала? — спросила Гёкче, хотя знала ответ, как знали все.

— А бабушка засмеялась. Мама говорит — засмеялась и ничего не ответила, только посмотрела на деда. И вот этого взгляда, — Нехир подняла палец, копируя дедовскую интонацию, — мне никто никогда не объяснит, потому что мама его не поняла, а дед делает вид, что не помнит.

Она сказала это легко, той самой отполированной скороговоркой, которой рассказывают анекдот, отшлифованный десятилетием, — и только где-то на самом дне, под тридцатью слоями привычки, шевельнулось всегдашнее: правду до конца знала бабушка. Но бабушку уже не спросишь.

— За бабушку Лейлу, — сказала Асли неожиданно серьёзно, и стаканы сошлись над столом в четвёртый раз.

Потом был кофе — Нехир сварила его внизу, в тёткиной джезве Асли, на медленном огне, как учил дед: «кофе не варят, кызым, кофе уговаривают», — и они пили его уже в темноте, среди огней, и Гёкче так и не добралась до пункта «разное», и Эйлюль рассказывала про архив, где опять протекла крыша над фондами, которые сто лет никто не запрашивал, — «понимаешь, их никто не читает, но пока они лежат, они как будто ещё могут быть прочитаны, в этом всё дело», — и Асли вдруг перестала жевать, отобрала у Гёкче телефон с недописанной повесткой, сказала «погоди-погоди: крыша. Архив. Бумаги, которые ещё могут быть прочитаны, и ведро под потолком — Эйлюль, это же готовый первый выпуск, это заголовок, я его вижу» — и записывала что-то себе в телефон для рубрики, и город внизу медленно остывал, как остывает джезва.

Уже на лестнице, прощаясь, Эйлюль придержала Нехир за рукав.

— Слушай. А в этой твоей квартире... ну, в той, которой конец девятнадцатого века. Ты уже была внутри?

— Завтра еду. А что?

— Ничего. — Эйлюль улыбнулась своей всегдашней улыбкой человека, который полжизни провёл среди документов и знает, что самые важные из них находятся случайно. —

Просто старые дома не любят пустовать. Когда в них наконец кто-то приходит, они начинают отдавать. Ты уж там... смотри внимательно.

Нехир засмеялась, обняла её и побежала вниз по гулкой лестнице, унося с собой запах маминого бёрека, кофейной гущи и последнего тепла сезона, — и завтра, в пустой гулкой анфиладе, об этих словах даже не вспомнила.

Глава третья. ОБЪЕКТ

Офис фирмы занимал бывший склад тканей в Каракёе — отец купил его в кризис, когда никто не понимал, зачем реставратору двенадцать метров под потолком, а отец понимал: чтобы двери стояли в полный рост. Двери были всюду. Они встречали посетителя от порога — ореховые, сосновые, дубовые, с резьбой и без, снятые с петель умерших домов, — и стояли вдоль кирпичных стен, прислонившись друг к другу, как люди в очереди, у которых много времени и общее прошлое. Мама называла это «приютом», отец — «библиотекой». Заказчиков вели между ними, как между стеллажами, и заказчики понижали голос.

В субботу офис был пуст, только из глубины, из-за перегородки, слышался голос отца — он опять говорил по телефону, и по тому, что пауз почти не было, Нехир поняла: не прораб. Поставщик. С прорабами отец был терпелив, как с погодой, — с поставщиками воевал.

— ...нет, дорогой мой, это не патина. Патину делает время, а это делал твой мастер вчера, морилкой, и у него дрожала рука... Хорошо. Жду во вторник. Настоящую.

Он вышел из-за перегородки, увидел дочь и сделал то, что делал всегда, сколько она себя помнила: посмотрел на неё так, словно проверял несущие конструкции. Осмотр занял секунду.

— Не выпалась. Пятница?

— Пятница.

— Хорошо. — В его системе координат «пятница с девочками» проходила по разряду профилактических работ: дорого, но дешевле капитального ремонта. Он взял со стола связку ключей — старую, тяжёлую, с картонной биркой, надписанной маминым почерком, — подбросил на ладони и не отдал. — Поедем вместе. Хочу сам тебе его показать. Потом он твой.

«Он» — отец говорил о домах только так. Мама говорила «она», о любом доме, даже о бетонной коробке. Родители прожили тридцать лет, так и не согласовав род существительного «дом», и Нехир подозревала, что на этом несогласии их брак отчасти и держится.

Ехали через Топхане, вдоль стены Кылыч[12]¹¹ Али-паши, и отец всю дорогу молчал — он вообще говорил о важном только глядя на дорогу или на стену, никогда в лицо. У светофора сказал:

— Гёкче твоя звонила. В девять утра. В субботу.

— Ох.

— Доверенность, приложение к договору, зона ответственности. Полчаса меня допрашивала. — Он помолчал и добавил с непонятной интонацией: — Толковая. Я подписал.

— Ты не сердишься?

— Я сержусь, что сам не сделал. — Светофор мигнул, машина тронулась. — Когда я начинал, у меня партнёр был, Недждет. Всё на слове, всё на чае, двадцать лет дружбы. Потом объект на Бююкада, деньги, суд... — он дёрнул плечом, как отряхиваются от воды. — Слово — хорошая вещь, кызым. Просто у него нет второго экземпляра.

Это было самое длинное высказывание отца о Недждете за всю её жизнь. Нехир знала эту историю по маминым обмолвкам — и знала, что продолжения не будет: отец рассказывал прошлое, как платят по счёту — ровно сумму, без сдачи.

Дом стоял в Томтом, в переулке между Истикляль и спуском в Чукурджуму, — пять этажей конца девятнадцатого века, фасад с эркерами, над входом — картуш с датой, которую Нехир не успела прочесть, потому что отец уже отпирал дверь, и подъезд выдохнул им навстречу свой запах. Каждый старый дом пахнет по-своему, но в основе всегда одно: остыв-

¹¹ Кылыч Али-паша — османский адмирал XVI века; его мечеть и хамам в Топхане построены по проекту Мимара Синана (ок. 1490–1588), главного архитектора империи при Сулеймане Великолепном и его преемниках. Паша — высший административный и военный титул, который присваивался сановникам, военачальникам и губернаторам.

ший камень, пыль, чужие обеды за сто лет — и что-то ещё, чему Нехир не знала имени и что про себя называла терпением.

Лифта не было. Была лестница — мраморные ступени с ложбинами, выношенными посередине, кованые перила с чугунным литъём, и свет, падавший сверху, из светового фонаря над пролётом, — субботний, пыльный, косой. Отец поднимался первым и говорил через плечо, короткими техническими фразами, и это была его форма нежности:

— Перила родные. Литъё — мастерские Перы, у нас на двух объектах такое же клеймо... Ступени менять не дам, пусть с ложбинами. Ложбины — это жильцы. Их не реставрируют.

Четвёртый этаж. Двустворчатая дверь — новодел, поставили временно, родную отец обещал найти «в библиотеке». Ключ повернулся дважды, и они вошли.

Квартира была пуста той особенной пустотой, которая наступает после строителей: черновые работы закончены, мусор вывезен, и дом остался наедине с собой — впервые за сорок лет. Анфилада уходила от прихожей вглубь, комната за комнатой, и в каждом дверном проёме стояло по параллелограмму света: окна здесь были высокие, в человеческий рост с поднятой рукой, и сентябрьское солнце входило в них не спрашивая, по старой памяти, как входят к давним знакомым.

— Двести восемнадцать метров, — сказал отец. — Потолки четыре двадцать. Сорок лет тут жили три семьи: перегородки, три кухни, два счётчика, антресоли. Мы всё сняли. Он теперь такой, каким был.

Нехир пошла по анфиладе одна. Шаги отдавались от стен и возвращались с опозданием — комнаты были такие высокие, что эхо в них жило на верхних ярусах, под лепниной, и спускалось неохотно. Лепнина шла по всем потолкам — гирлянды, розетки, по углам что-то растительное, — задушенная тремя слоями масляной краски, но живая: мама была права, снимется. В третьей комнате стояла печь — изразцовая, до потолка, цвета морской волны с золотыми прожилками, и Нехир застыла перед ней, как застывала в детстве перед витриной деда. Вторая печь, в дальней комнате, была разбита — кто-то из трёх семей выломал изразцы до половины, наверное, под трубу буржуйки, и она стояла, как человек с ободранным рукавом, стараясь держаться прямо.

— Починим, — сказал отец сзади. — Мастер по изразцам есть, в Кютахье. Дорогой, собака.

Но Нехир уже не слушала про мастера. Она стояла у окна последней комнаты — угловой, с эркером, — и смотрела. Внизу лежали крыши: черепица, ржавое железо, спутниковые тарелки, чей-то самовольный мансардный этаж с геранью, — крыши сбегали по склону вниз, к Топхане, и между ними, в прорези переулка, стояла вода. Босфор был виден куском — небольшим, с ладонь, — но этого куса хватало: по нему как раз проходил сухогруз, длинный и медленный, и за ту минуту, что Нехир стояла у окна, он так и не прошёл весь. А правее, над крышами Галатапорта, поднимался белый борт лайнера — высокий, многопалубный, нахальный, — и Нехир подумала, что полтора века назад из этого самого окна кто-то смотрел на этот же кусок воды, только корабли были другими, и ждать их приходилось дольше.

— Ну, — сказал отец. Он стоял в дверях, привалившись плечом к косяку, и смотрел не на Босфор — на неё. — Что скажешь.

Она обернулась. В пустой комнате её голос прозвучал выше обычного:

— Он должен быть таким, каким был. Не стилизация, не «под старину», не бутик-отель. Ему сто сорок лет — значит, в нём должны стоять вещи, которым место в этих стенах. Подлинные. Я буду собирать его, как собирают... — она поискала слово, — как возвращают семью.

Она снова повернулась к эркеру. В квартирах этого века, в этом квартале, у этого окна не могло не быть кабинета — с книгами до потолка, с креслом у печи, с местом, где хозяин дома писал письма и смотрел на воду. Эта комната и была кабинетом, она поняла это только что и сразу окончательно, как понимают чужое имя, услышав его один раз. Значит — библиотека

вдоль глухой стены. Значит — стол. Настоящий, того времени, у окна. С него и надо начинать: дом такого возраста собирается вокруг письменного стола, как семья вокруг старшего.

Отец кивнул — один раз, коротко, как принимают этаж.

— Заказчик прислал референсы, — сказал он. — Посмотри вечером, я переслал. Отели, лобби, что-то из журналов. Ты посмотри — и сделай по-своему. Он не знает, чего хочет. Он знает, что хочет дорого. Твоя работа — сделать так, чтобы дорого совпало с правильно.

— А он какой вообще?

Отец подумал. Он подбирал слова про людей дольше, чем про дома.

— Занятой, — сказал наконец. — Купил квартиру год назад, был на объекте два раза. Оба раза — по двадцать минут, в телефоне. Про дом спросил одно: когда. — Он оттолкнулся от косяка. — Но платит без разговоров и в срок. Для нашего дела, кызым, это почти любовь.

Вечером, дома в Левенте, Нехир открыла переписку с отцом и пролиставла референсы. Всё было ровно так, как она боялась: лобби стамбульских отелей, латунь, бархат, «османский шик» из глянца — эпоха, пересказанная человеком, который в ней не был. Она закрыла папку и открыла другую — свою, рабочую, куда с весны складывала лоты аукционов: консоли, зеркала, бра. Через час в этой папке прибавилось: онлайн-каталог вечерних торгов, лот сорок третий — пара настенных бра, бронза, конец девятнадцатого века, Пера, — ровно то, с чего начинают собирать семью.

Торги шли медленно, лот сорок третий добрался до неё к полуночи. Нехир вела спокойно, с запасом, перебивая двух вялых конкурентов, и за сорок секунд до закрытия уже мысленно вешала бра по сторонам разбитой печи — когда на табло возник новый участник, номер двести семь, и поднял цену сразу на треть.

Она подняла в ответ. Двести седьмой ответил через три секунды — ещё на треть.

Это была уже не цена бра. Это была цена принципа, и по скорости ставок Нехир поняла, что человек на том конце даже не смотрит на лот — он смотрит на цифру и нажимает кнопку, потому что может. За восемь секунд до закрытия она вышла из торгов и некоторое время сидела, глядя, как лот сорок третий уходит номеру двести семь.

— Чтoб тебе их вешать было некуда, — сказала она номеру двести семь, закрыла ноутбук и пошла спать.

Утром она об этом уже не вспоминала. У неё было двести восемнадцать метров, которым предстояло вернуть семью, — и она знала, с чего начнёт. С лавки, где вещи ждут терпеливее людей и где дед, открыв ставни по азану, скажет ей своё всегдашнее: посмотри в хранилище.

Глава четвёртая. ЛАВКА

В воскресенье Чукурджума просыпалась позже всего города, и Нехир любила приходить к деду именно в этот час — когда переулки ещё стояли в утренней тени, ставни лавок были закрыты, и квартал принадлежал котам, голубям у фонтана Омера Аги и запаху первого хлеба из пекарни на углу. Ночью прошёл дождь — первый настоящий дождь сезона, — и брусчатка блестела, и деревянная мечеть Молла Фенари стояла над мокрой улицей посвежевшая, мятно-зелёная, как будто её тоже вымыли к воскресенью.

По дороге вниз Нехир, как всегда, замедлила шаг у лавки Садыка-бея. Ставни были закрыты — четвёртый год. Сквозь щель между ними, если наклониться, можно было разглядеть в темноте очертания: горку люстр, спинки стульев, поставленных друг на друга, чей-то мраморный бюст, глядящий в стену. Садык-бей^[13]¹² умер зимой, в самый снег, а наследники — сын в Измире, дочь в Германии — с тех пор не могли договориться ни о продаже, ни о разделе, и лавка стояла, как корабль, вмёрзший в лёд: команда на борту, курса нет. Дед о Садыке говорил редко и всегда одно: «Полвека мы с ним перекупали друг у друга одни и те же вещи. Теперь всё у него, а торговаться не с кем».

С минарета Молла Фенари поплыл азан, и ему, как эхо, отозвались ставни: дед открывал лавку. Нехир завернула за колено улицы и увидела ритуал, который знала наизусть: Рефик, в жилете поверх рубашки, отпирал и разводил в стороны тяжёлые створки, потом выносил и ставил у входа то, что называл «приманкой», — сегодня это были медный мангал и стопка изразцов, — потом оглядывал улицу, мечеть, небо, будто принимал у ночи смену, и последним жестом клал ладонь на голову правого льва. Левый лев был её, правый — его; так повелось.

— Дед.

— Кызым. — Он не удивился, он никогда не удивлялся её приходам, как не удивляются приливу. Только глянул тем же осмотром, что и отец, но с другим итогом: — Похудела. Идём, менемен^[14]¹³ как раз злится.

Менемен действительно злился — шкворчал на плитке в подсобке за лавкой, в каморке, где помещались стол, два стула, полка с чаем и фотография бабушки в тонкой латунной рамке. Дед готовил менемен каждое воскресенье, всю жизнь, по одному и тому же порядку: сначала перцы, потом помидоры, тереть, не резать, яйца в самом конце, не мешать, а «подтыкать», и — на чём порядок неизменно спотыкался — щепоть сушёной мяты.

— Опять мята, — сказала Нехир, заглядывая в сковороду.

— Опять.

— Бабушка клала?

— Клала. — Дед подоткнул яйца ложкой, хмуро посмотрел на результат. — Только у неё получалось, чтобы мята была, а привкуса не было. Вкус был, а привкуса не было. Сорок лет смотрел, как она это делает. Не увидел. — Он разложил менемен по тарелкам, сел, отломил хлеба. — Ешь. У меня получается с привкусом, но ты терпи, это семейное наследие.

Они ели, и Нехир рассказывала про дом в Томтом — про анфиладу, про печь цвета морской волны и печь с ободранным рукавом, про кусок Босфора с ладонь. Дед слушал, как умел слушать только он: не кивая, не поддакивая, глядя чуть в сторону, — и по этому взгляду в сторону было видно, что он не отвлёкся, а наоборот, ушёл в рассказ целиком и ходит сейчас по той анфиладе сам.

— Картуш над входом, говоришь, — сказал он, когда она закончила. — Дату не прочла?

¹² Бей — традиционное уважительное обращение к мужчине; в современной речи ставится после имени.

¹³ Менемен — блюдо из яиц, помидоров и зелёного перца, приготовленных на сковороде; состав и способ перемешивания часто становятся семейным спором.

— Не успела. Отец гнал смотреть перила.

— Прочти. С даты начинают. — Он собрал хлебом остатки с тарелки. — Дом без даты — как человек без имени: разговаривать можно, знакомиться не с кем... Значит, хочешь ставить туда подлинный век.

— Хочу, чтобы вещи были ему родня. Не по стилю — по крови.

Дед посмотрел на неё — впервые за утро прямо, — и в этом взгляде что-то произошло, какое-то короткое внутреннее движение, которого она не поняла; так смотрят, сверяя сказанное с чем-то давним, о чём собеседник не знает.

— По крови, — повторил он. — Хорошо сказала. Пошли вниз, у тебя времени до первого покупателя.

Первый этаж лавки был парадным — насколько это слово вообще применимо к пещере. Свет входил сюда с улицы и сразу сдавался: его разбирали на части сотни поверхностей — медь, бронза, перламутр, стекло, позолота рам, — и дальше вглубь он шёл уже не светом, а слухами о себе. С потолка гроздьями свисали люстры; вдоль стены стояли зеркала, от карманного до дворцового, и в каждой лавка повторялась чуть иначе, темнее и глубже, так что казалось — у неё нет задней стены, а есть анфилада отражений, уходящая в прошлый век. Пахло воском, латунной пастой, старой бумагой и совсем немного — розовой водой: этот запах жил тут со времён бабушки, и дед его поддерживал, не признаваясь.

А на стене за прилавком висел немой концерт: колокольчики. Десятки, в несколько рядов, от напёрстка до кулака — верблюжьи, козы, дверные, корабельная рында в углу. Дед собирал их всю жизнь и не продавал никогда.

— Задача тебе, — сказал он через плечо, проходя к прилавку. — Освежи руку.

Это была их игра, старше всех остальных игр. Нехир сняла с гвоздя колокольчик — маленький, гранёный, с почти стёршейся гравировкой, — качнула. Звук вышел сухой, высокий, с коротким хвостом.

— Козий. Горный, литьё грубое... Восток? Эрзурум?

— Ван, — сказал дед, не оборачиваясь. — Но за Эрзурум уже не стыдно. Десять лет назад ты сказала бы «Индия»... Звук, кызым, врёт меньше клейма. Клеймо можно подделать, голос — нет.

Колокольчик у двери — настоящий, дверной, рабочий — брякнул, впуская первых посетителей: двое мужчин, и Нехир, по старой игре, начала читать их раньше, чем они поздоровались. Старший — в шляпе, с тростью, льняная рубаша навывпуск, шорты, мокасины на босу ногу: человек, который путешествует давно и с удовольствием и одевается в отпуске так, как всю жизнь мечтал одеваться на работу. Второй — высокий, моложе, в футболке, джинсовых шортах и бейсболке, с рюкзаком за плечами — не туристическим, повседневным, обжитым, — и по тому, как он ещё от порога начал смотреть не на товар, а вверх, на грозди люстр, Нехир поняла: этот пришёл не покупать. Этот пришёл смотреть. Русские, определила она по негромкому обмену репликами — и по тому особому выражению, с которым русские входят в старые стамбульские лавки: без алчности, но с тоской, будто что-то своё узнают.

Дед тоже прочитал их с порога — и первым делом, на своём международном английском, с поклоном, в котором не было ничего обидного, попросил высокого: рюкзак, если можно, в руки, эфенди, — и повёл ладонью по лавке, объясняя жестом то, что не помещалось в слова: задевать здесь было что. Высокий засмеялся, снял рюкзак и понёс его перед собой, как носят ребёнка, — и этим движением как-то сразу сделался в лавке своим. Дальше дед перешёл на свой обычный язык — смесь английского, жестов и такого радушия, что перевод делался необязательным, — и повёл их по лавке, как водят по семейному дому: это вот из яла на Босфоре, дому сто пятьдесят, подсвечникам сто тридцать, не бойтесь, трогайте, вещи любят руки...

Старший, в шляпе, трогал, ахал, приценивался — а высокий ходил медленно, почти ничего не трогая, и смотрел так, как смотрят не вещи, а лавку целиком, — и вдруг остановился

у простенка между окнами. Там, чуть в стороне от продажных зеркал, висело одно — небольшое, в скромной ореховой раме, со стеклом, потемневшим по краям до оловянной глубины.

— And this one? — спросил высокий. Он не доставал телефона считать курс — он просто стоял перед ореховой рамой, наклонив голову. — How much?

— Not for sale, — сказал дед.

Он сказал это легко, всё с тем же радушием, и уже разворачивал гостей к другому зеркалу — вдвое больше и втрое дороже. Старший в шляпе ничего не заметил и через двадцать минут ушёл счастливый, с подсвечниками и кофейной мельницей; высокий у дверей обернулся, ещё раз посмотрел через лавку на ореховую раму — и кивнул ей, как знакомой. Но Нехир заметила. Она всегда замечала этот миллиметровый сдвиг в дедовом голосе — как трещинку в глазури: снаружи не видно, пальцем чувствуешь.

— Старший хорошо давал, — сказала она, когда колокольчик у двери отзвенел.

— Он давал за зеркало, — согласился дед, протирая прилавок. — А это не зеркало.

— А что?

Дед повесил тряпку, посмотрел на ореховую раму через лавку — издали, как смотрят на воду.

— Это место, где сорок лет отражалась твоя бабушка. — Он сказал это ровно, без нажима, как называют цену. — Стекло старое, олово. Такое стекло, говорят, держит всё, что видело. Враньё, конечно. Но проверять не дам.

И прежде чем Нехир нашлась с ответом, он уже шёл к лестнице, на ходу снимая с крюка ключи — старые, длинные, на кольцо размером с браслет:

— Идём. Покупателей до обеда не будет, воскресенье — день зевак... Тебе нужен третий этаж.

Лестница на третий, в хранилище, была узкой, деревянной и считала их шаги вслух. Дед поднимался первым и говорил в такт ступеням — о том, что на объект такого метража нужна крупная форма, комоды, консоли, «и стол, кызым, в кабинет нужен стол, без стола дом не думает»; о том, что мебель девятнадцатого века надо смотреть с изнанки, потому что лицо делали для покупателя, а изнанку — для совести; о том, что у него тут стоит кое-что лет тридцать, ждёт не покупателя, а понимающего, это разные профессии...

На площадке третьего этажа он остановился, перебрал ключи на кольцо не глядя, на ощупь, одними пальцами — и отпер дверь в темноту, пахнущую деревом, пылью и временем.

— Свет справа, — сказал дед. — Смотри всё. Что твоё — само скажет.

Нехир шагнула через порог и нащарила выключатель.

Глава пятая. ХРАНИЛИЩЕ

Свет на третьем этаже зажигался по очереди — три лампы под жестяными абажурами, одна за другой, с ленивыми запаздываниями, — и с каждой лампой из темноты выступал новый ряд: шкафы, поставленные лицом к стене, как наказанные; кресла, взгромождённые на диваны; свёрнутые ковры, стоящие по углам, будто колонны недостроенного храма. Половина мебели была под чехлами, и чехлы за годы осели и обмялись по формам, так что хранилище напоминало комнату, полную людей, накрывшихся с головой и уснувших кто где.

Ставни здесь не открывали годами, но улица всё равно просачивалась внутрь — звуками. Слышно было, как внизу у фонтана спорят голуби, как где-то заводят мотоцикл, и как вдалеке, за два переулка, тянет своё «эскиджи-и-и!..» старьёвщик с тележкой — протяжно, на одной ноте, как муэдзин своей маленькой веры. Дед и эскиджи полвека делили один квартал и одно ремесло, только с разных концов: эскиджи подбирал то, от чего люди избавлялись, дед — то, с чем не могли расстаться.

Нехир пошла вдоль рядов медленно, как учили: не выискивая, а давая вещам время. Третий этаж она знала хуже первого и второго — сюда дед поднимался редко и неохотно, здесь стояло «долгое», как он говорил: вещи, которые ждут не покупателя, а понимающего. Она откидывала чехлы, смотрела, возвращала. Комод-«сундукчу» с перламутровой инкрустацией — да, в спальню, вот прямо так, да. Пара консолей — да. Зеркало в резной раме — примерить. Ширма — нет, слащавая. Кресла — переобить и да...

Стол она увидела не сразу — и в этом потом, задним числом, ей чудился умысел: он стоял в дальнем углу, за шкафами, накрытый не чехлом, а старым килимом¹⁴, и поверх килима громоздились две картонные коробки с латунными ручками для дверей. Она сняла коробки, потянула килим — и остановилась.

Это был письменный стол. Орех, тёмный, почти в черноту; столешница с полем зелёного сукна, вытертого до глянца по правому краю — там, где полтора века двигалась чья-то рука; тумбы на невысоких точёных ножках, ящики с врезными замками, и по всему периметру, под кромкой столешницы, — резной фриз: розетки, перевитые лентой, работа мелкая, терпеливая, без единого сбоя ритма. Стол был из тех вещей, о которых дед говорил «сидит в себе»: ни грамма лишнего, ни жеста напоказ — и оттого сразу видно было, что делали его долго, дорого и для человека, который знал, чего хочет.

— Вот ты где, — сказала Нехир вслух, и хранилище приняло её голос без эха, по-домашнему.

Кабинет в Томтом стоял у неё перед глазами — угловая комната с эркером, кусок Босфора с ладонь, — и стол встал туда с первой примерки, как встаёт на место последний фрагмент мозаики: с тихим внутренним щелчком. Реставрация, конечно. Сукно менять. Левая тумба рассохлась, замок одного ящика хромеет, по крышке — два белёсых круга от чашек, которые какой-то варвар ставил без блюда лет семьдесят назад... Она обходила стол, как обходят лошадь перед покупкой, вела ладонью по кромке, приседала, заглядывала, — и на третьем круге её рука остановилась сама, раньше головы.

Что-то было не так с пропорцией.

Она отступила на шаг, посмотрела ещё раз — уже не любуясь, а измеряя. Столешница. Столешница была толстовата. Не грубо — на сантиметра три-четыре против того, что взял бы мастер такого класса; для прочности не нужно, для красоты вредно, и резной фриз, поняла она вдруг, для того и пущен по периметру: он съедал лишнюю толщину, дробил её, обманывал

¹⁴ Килим — безворсовый тканый ковёр с геометрическим или растительным орнаментом.

глаз. Обманывал так хорошо, что она сама купилась — она, смотревшая на эту породу мебели с шести лет.

Дизайнер в ней сказал: ошибка мастера. Внучка антиквара ответила: мастер такого класса не ошибается. Он тратит лишнее дерево, лишние недели резьбы и лишние деньги заказчика только на одно.

— Так, — сказала Нехир столу. — Так-так.

Она вытащила ящики — все шесть, — просунула руку в проёмы, простучала днища и заднюю стенку. Дерево отвечало ровно, честно, без пустот. Перевернуть стол одна она не могла, но легла на спину и уползла под него с телефонным фонариком, как уползала под все сомнительные предметы этого мира с тех пор, как доросла до самостоятельных закупок. Изнанка была чистая работа — «лицо делают для покупателя, изнанку для совести», — и совесть у мастера была безупречная: ни щели, ни свежего шва, ни следа вмешательства. Снизу столешница выглядела монолитом.

Значит, сверху.

Она выбралась, отряхнулась и села перед столом на снятый со стула чехол, скрестив ноги, — глаза вровень с кромкой. Смотри не на вещь, кызым. Смотри на следы. Полтора века за этим столом жили: сукно вытерто справа — правша; на кромке, у правой тумбы, лак сработан до дерева — там опиралась ладонь; передний край столешницы отполирован рукавами до масляного блеска... Она вела взгляд по резному фризу, розетка за розеткой, медленно, как дед учил читать вязь^[16] — не выхватывая, а следуя, — и на исходе второго метра взгляд запнулся.

Одна розетка была темнее.

Чуть. На полтона. Не порода, не пятно — просто лак вокруг неё был выношен мягче и глубже, чем у соседних, и грани резьбы сглажены, как сглаживаются чётки. К этой розетке — левая тумба, третья от угла, место, куда сама собой ложится левая рука сидящего, если правая пишет, — к этой розетке полтора века возвращались пальцы.

Нехир накрыла её подушечкой большого пальца — резьба легла в кожу удобно, обжито, — и надавила. Ничего. Потянула. Ничего. Тогда она сделала то, что делала рука до неё тысячи раз, — она это почти услышала, как дед слышал колокольчики: повернула.

Розетка подалась — туго, с сухим деревянным сопротивлением, на четверть оборота, — и где-то внутри столешницы, глубоко, отозвалось: не щелчок даже, а короткий деревянный вздох, звук освобождённой пружины, уставшей ждать.

Столешница дрогнула под её ладонями.

Потом Нехир не могла вспомнить, сколько она просидела не двигаясь — минуту, три? Снизу, из лавки, глухо доносился дедов голос и смех покупательницы; за ставнями эскиджи допевал свой переулук; полуденное солнце продавливалось сквозь щели жалюзи двумя пыльными лезвиями. Она положила обе ладони на зелёное сукно и повела столешницу на себя.

Верхняя доска пошла — тяжело, всем весом, по невидимым пазам, отшлифованным до шёлка, — сдвинулась на ладонь, на две, — и остановилась, дойдя до упора. Под ней, во всю площадь стола, лежало второе дно.

И оно было полным.

Тетради. Они лежали корешок к корешку, ряд за рядом, плотно, как соты, — в тёмных клеёноччатых и мраморных обложках, тронутых по углам временем, но целых; между рядами были проложены полоски вощёной бумаги, и от всей полости поднимался запах, которого не было в хранилище, — сухой, тонкий, чужой здешней пыли: старая бумага, чернила и что-то ещё, травяное, — лаванда, поняла она, крошечные серые стебельки, рассыпанные по дну, чья-то рука положила их сюда от моли, и моль послушалась, и время, кажется, тоже.

¹⁵ Вязь — арабское письмо в его каллиграфическом изводе, которым до реформы 1928 года писали по-турецки: буквы соединяются в плотный узор, и читать его значит прежде всего различать связки, а не отдельные знаки.

Пыли внутри не было совсем. Полтора века тайник держал свой собственный воздух — и теперь этот воздух, воздух другого столетия, медленно смешивался с её.

Нехир сидела не дыша. Внизу дед пробивал чек, звякнул дверной колокольчик, покупательница ушла. Она осторожно, двумя пальцами, как берут птицу, подняла крайнюю тетрадь. Обложка — мраморная бумага, эбру[17]¹⁶, разводы цвета выцветшего Босфора. Уголки сбиты. Тетрадь была плотной, сытой, исписанной — она чувствовалась в руке, как чувствуется полный кувшин.

Нехир открыла первую страницу.

Вязь. Рукописная, беглая, тесная — строки шли справа налево ровным потоком, буквы цеплялись друг за друга, ныряли и выныривали, точки летели над словами, как чайки над водой. Это было не печатное благолепие, которое она читала с шести лет на крышках и подносах. Это был почерк — живой, торопливый, ничей больше. Почерк человека, который писал не для чужих глаз.

Она узнала одно слово. Потом, через две строки, ещё одно — «вечер»? «море»? — и потеряла его, и строки сомкнулись над смыслом, как вода.

— Кызым! — донеслось снизу, с лестницы. — Ты там жива? Нашла что-нибудь?

Нехир посмотрела на тетрадь в своих руках, на соты тетрадей в столе, на два пыльных лезвия света поперёк зелёного сукна.

— Нашла, — сказала она. И не узнала своего голоса.

¹⁶ Эбру — техника создания мраморного узора красками по поверхности воды с последующим переносом рисунка на бумагу.

Глава шестая. ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

Деду она не сказала.

Потом, много позже, Нехир будет вспоминать это воскресенье и пытаться понять — почему. Внизу звенел колокольчик, шли воскресные зеваки, дед дважды окликал её с лестницы; она сидела над раскрытым тайником, и сказать было так просто: дед, поднимись, тут такое. Вместо этого она — руки решили раньше головы — задвинула столешницу обратно, до деревянного вздоха замка, повернула розетку на место, спустилась вниз и сказала: стол. Ореховый, письменный, в дальнем углу, — стол, комод-сундукчу, пара консолей, зеркало примерить. Дед кивал, записывал огрызком карандаша на обороте старого ценника, радовался её выбору — «стол-то, стол помнишь какой? тридцать лет стоит, понимающего ждёт», — а она слушала себя, как слушают чужого человека: почему я молчу?

Одна тетрадь — крайняя, в обложке эбру цвета выцветшего Босфора — лежала у неё в сумке, завёрнутая в шёлковый платок, который она купила тут же, не торгуясь, из дедова же сундука. Это было не воровство — из семейной лавки не крадут, — но это было что-то, чему она пока не знала имени. Есть находки, которые нужно сначала понять одному. Так она себе объяснила. Настоящий ответ был проще и стыднее, и она узнает его позже: ей не хотелось делиться. Голос, запертый в этих строках полтора века, попал в руки к ней — и первую ночь он должен был принадлежать ей одной.

Дома, в Левенте, был ужин, и мама спрашивала про деда — ел ли, как выглядит, опять ли мята в менемене, — и Нехир отвечала, и дважды набирала воздуха, чтобы сказать про стол с секретом, и дважды выдыхала пустое. Мама, выросшая над лавкой, поняла бы всё и сразу; в том и дело. Нехир унесла чай к себе, закрыла дверь и достала тетрадь из платка.

Левент за окном стоял в своём ночном режиме — не спал, города такого размера не спят, а дремал вполглаза: башни горели дежурными огнями, по проспекту внизу изредка прошуршивало, и где-то далеко, за холмами, светилося зарево старого города — там, откуда она привезла эту тетрадь. Нехир включила рабочую лампу, положила тетрадь в круг света и долго не открывала. Обложка, уголки, сбитые до картона. На ощупь тетрадь была тёплой — глупость, конечно, комнатная температура, но рука настаивала: тёплая.

Она открыла первую страницу — и рика встретила её, как море встречает решившего, что умеет плавать, потому что переплывал бассейн.

Печатный шрифт, который дед ставил перед ней с шести лет, был архитектурой: каждая буква стояла отдельным зданием, с фундаментом и крышей. Здесь зданий не было. Здесь был поток. Строка неслась справа налево, не разбирая берегов: буквы слипались по три, по пять, роняли свои точки — а без точек половина букв в этом письме близнецы, — слова наезжали друг на друга, последняя буква одного становилась первой другого; кое-где перо, не отрываясь, сшивало полстроки в одну длинную волну с редкими гребнями. Она узнавала букву — и теряла её; ловила слово — «вечер»? нет, «время»? — и течение вырывало его из рук.

Час спустя у неё был блокнот, исписанный вариантами, три открытые вкладки со таблицами почерков, остывший чай — и полторы разобранные строки.

Она откинулась на стуле и засмеялась — тихо, зло, сама над собой. Двадцать лет она снисходительно кивала, когда дед говорил, что читать матбу и читать рiku — два разных ремесла. «Печать — это вещь, кызым, а почерк — это человек. Вещь можно изучить. С человеком надо знакомиться».

Знакомиться. Хорошо. Она умела знакомиться с вещами — начнём как с вещи.

Нехир отодвинула блокнот и стала смотреть на страницу так, как смотрела на мебель: не читая — разглядывая. Наклон ровный, прилежный, но в конце строк перо срывается — пишущий торопится к мысли раньше руки. Поля идеальные... на первых страницах; дальше строки

начинают съезжать. Нажим лёгкий — учили хорошо, рука поставлена, — но вот тут, и тут, и тут перо останавливалось: точка раздумья, крошечная клякса, слово зачёркнуто и надписано сверху. Человек не переписывал набело. Человек думал прямо здесь.

И человек был молод. Она не смогла бы доказать это ни одному эксперту, но она видела это так же ясно, как видела возраст стула по стёртости перекладин: почерк был выученный, но не заношенный — без тех сокращений и небрежностей, которые появляются у руки после тысяч страниц. Рука старалась. Рука ещё немного гордилась собой.

— Ну здравствуй, — сказала Нехир странице.

И пошла по строке заново — теперь не как пловец, а как дед по колокольчикам: не выхватывая, а следуя. Первое слово далось через десять минут и оказалось датой. Числа она умела; месяц выплыл следом — и год: 1288-й. Дневник считал время по-своему, по календарю руми[18]¹⁷, которым империя вела свои бумаги, — и Нехир пересчитала его на телефоне, и посидела, глядя на результат, чувствуя лёгкий холод вдоль позвоночника: тысяча восемьсот семьдесят второй.

Дальше пошло — не легко, но пошло. Слово цеплялось за слово; повторяющиеся связки она заносила в блокнот и узнавала при второй встрече, как узнают лица; к третьей странице блокнота у неё был собственный маленький словарь этого почерка — его привычки, его слабости, его любимая манера подвешивать хвост последней буквы, как росчерк. К двум часам ночи первая запись, спотыкаясь, зияя пробелами, начала говорить.

«...дня месяца... года 1288-го. Сегодня мне исполнилось... лет, и по этому случаю отец подарил мне стол. Его привезли утром из мастерской... человека, и он так тяжёл, что его поднимали вчетвером, а Х... -ага бранился внизу, что лестницу строили для людей, а не для...»

Оказалось, она улыбается. Двое суток назад этого мальчика не было на свете — а теперь она знала, что стол подняли вчетвером и что некий ага бранился на лестнице. Она читала дальше, по слову, по полслова, и постепенно — она не заметила, когда именно, — случилось то, ради чего люди вообще склоняются над чужими строками: голос перестал быть текстом.

«Стол поставили у окна, как я просил. Учитель Хайри-эфенди говорит, что у моей руки лёгкое перо, и что это дар; он сказал это при отце. Отец ответил: перо — не профессия. Он сказал это не мне, а учителю, но смотрел при этом на меня, и я...»

Дальше шли две строки, которые не давались совсем, — перо там летело, забыв о буквах, — и Нехир, промучившись, перескочила.

«...потому решил я вести эту тетрадь. Пусть у стола будет служба, а у меня... Брат смеётся, что я вечно смотрю в окно. Из моего окна виден... и кусок моря, и когда идёт большой пароход, я слышу его раньше, чем вижу. Сегодня прошло четыре. Я записал это, и пусть это будет первая запись: четыре парохода, новый стол и то, что сказал отец. Из такого, наверное, не делают историй. Но это моё».

Из такого, наверное, не делают историй. Но это моё.

Нехир сидела над страницей, и лампа горела, и чай был холодный, и где-то в доме щёлкнул, переключаясь, ночной кондиционер. Мальчик у окна считал пароходы в тысяча восемьсот семьдесят втором году. Ему подарили стол — этот стол, тот самый, с розеткой, вытертой до мягкости чётки, — и отец сказал ему при учителе, что перо не профессия, и он завёл тетрадь, потому что ему нужно было место, где «это моё» можно произнести хотя бы шёпотом, хотя бы бумаге.

Она перевернула страницу. Вторая запись начиналась со слова, которое она уже знала, — «вечер», — а через три строки стояло имя: то самое, зачёркнутое и надписанное заново, и в

¹⁷ Календарь руми — солнечный счёт, которым Османская империя вела делопроизводство; его год отстаёт от григорианского на 584 года. Религиозные и торжественные даты при этом ставили по хиджре, поэтому в одном доме могли жить сразу два счёта времени.

надписанном она сумела разобрать только первые буквы — «Не...» — а дальше перо сорвалось, и время заикнулось, и строка ушла под воду.

За окнами Левента начинало сереть. С дальнего минарета, потом с другого, потом отовсюду сразу поплыл утренний азан — в этом районе его пели стеклянные ущелья, перекаывая эхо между башен, — и Нехир, не спавшая ночь, слушала его над раскрытой тетрадью и думала две мысли одновременно. Понедельник её не пугал: по «режиму Нехир» утро принадлежало ей, а отцу принадлежал результат — и результат у неё был, только не тот, который можно показать отцу. Первая мысль была смиренной: одной ей не справиться — нужен дед. Вторая была не мыслью даже, а решением, уже принятым где-то глубже мыслей.

Она должна узнать, как его звали. Мальчика, который считал пароходы.

Глава седьмая. ДВОЕ НАД СТРАНИЦЕЙ

В понедельник Чукурджума работала: по переулку от кафе на углу ходил мальчишка-чайджи с подвесным подносом и разносил лавочникам утренний чай — стаканы позванивали, и по этому звону, приближающемуся и удаляющемуся, квартал сверял начало дня надёжнее, чем по часам. Дед стоял в дверях лавки со стаканом — второй, полный, ждал на прилавке, — и по тому, что второй стакан уже ждал, Нехир поняла: её здесь ждали тоже.

— Дед...

— Сначала чай. — Он посторонился, пропуская её внутрь. — Признания на пустой желудок вредны для сердца. Обоих сердец.

Она застыла с сумкой в руках:

— Ты знаешь?

— Я знаю, что в воскресенье ты сказала мне «нашла» голосом, которым не говорят про комоды. — Дед взял свой стакан, отпил, посмотрел на неё поверх ободка. — Пятьдесят лет я слушаю, как люди говорят про вещи, кызым. Голос врёт меньше клейма. Я весь вечер ждал, что ты вернёшься. Потом понял: значит, придёшь утром. Значит, это такое, с чем сначала сидят одни.

Нехир поставила сумку на прилавок, развернула шёлковый платок и положила перед дедом тетрадь в обложке эбру.

— В столе двойная столешница, — сказала она. — Механизм в резном фризе. А там... Дед, там таких — весь стол. Рядами. Я взяла одну. Я не знаю, почему не сказала сразу. Прости.

Дед не притронулся к тетради. Он смотрел на неё — долго, неподвижно, и лица его Нехир прочесть не смогла — а она умела читать это лицо с шести лет. Потом он аккуратно, двумя руками, как переносят птичье гнездо, отставил свой чай.

— Покажи механизм, — сказал он.

На третьем этаже он встал перед столом и молчал, пока она снимала килим. Молчал, пока её палец находил тёмную розетку — теперь уже сразу, свойски. Когда внутри столешницы отошел деревянный вздох и верхняя доска пошла по своим шёлковым пазам, дед издал короткий звук — не то вздох, не то смешок — и покачал головой.

— Тридцать лет, — сказал он. — Тридцать лет он стоял у меня. Я его щупал, я его двигал, я на него, прости господи, коробки ставил. — Он наклонился над раскрытым тайником, и его тень легла на соты тетрадей. — А открылся тебе... Кто тебя учил смотреть, хотел бы я знать.

— Один старьевщик с Чукурджумы.

— Передай ему, что он гений... — Дед не смеялся. Он стоял над тетрадями, опираясь обеими руками о край стола, и Нехир видела, как в нём борются два человека: антиквар, уже посчитавший — рядность, сохранность, полтора века, — и кто-то второй, который считал совсем другое. Второй победил. Дед выпрямился и снял с головы несуществующую шляпу — жест, который она видела у него дважды в жизни: на похоронах Садыка-бея и перед михрабом Молла Фенари, куда он однажды завёл её показать резьбу. — Столько лет молчать, — сказал он тетрадям. — Ну, здравствуйте.

Вниз они снесли верхнюю тетрадь из ближнего ряда и её, ночную, — дед велел вернуть её на место в общем порядке, «тетради — это книга, кызым, а книгу не читают с середины горсти», — и до первого покупателя устроились в подсобке: чай, лупа на бронзовой ручке, блокнот Нехир с её ночным слова

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.